



СЧАСТЛИВЫЕ ЛЮДИ

Каринэ Арутюнова

Каринэ Арутюнова

счастливые люди

*http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=11008852
ISBN 9785447412821*

Аннотация

Однажды в одной стране жили люди. Они катались на трамваях, ходили в цирк, стояли в очередях. У них почти все было, как у нас.. Пятиэтажные дома и темные подъезды. Лестничные клетки и тесные комнатки. Папиросы «Беломор-канал», конфеты «Золотой ключик», полные жмени семечек. Облигации государственного займа, сложенные вчетверо и лежащие в комоде, в стопках глаженного белья. Это были очень счастливые люди. Насколько могут быть счастливыми те, кто ходит вниз головой.

Содержание

Она любила Маркеса	7
Можно сказать	9
Жизнь	11
Мама мыла раму	14
Комод	19
Смешные слова	23
Обратная сторона земли	27
Жизнь впереди	34
Душа баклажана	38
Голоса	45
Однажды Ваня запряг	49
Нарды	52
На улицах детства	59
Идентификация	62
Плывущие по волнам	65
Бульвар Перова, 42	71
Черная среда	77
Утро понедельника	80
Балетки	86
Княжна Тамара	89
Корзина, картина, картонка	93
Зеркало	98
Конец ознакомительного фрагмента.	100

счастливые люди истории со счастливым концом

Каринэ Арутюнова

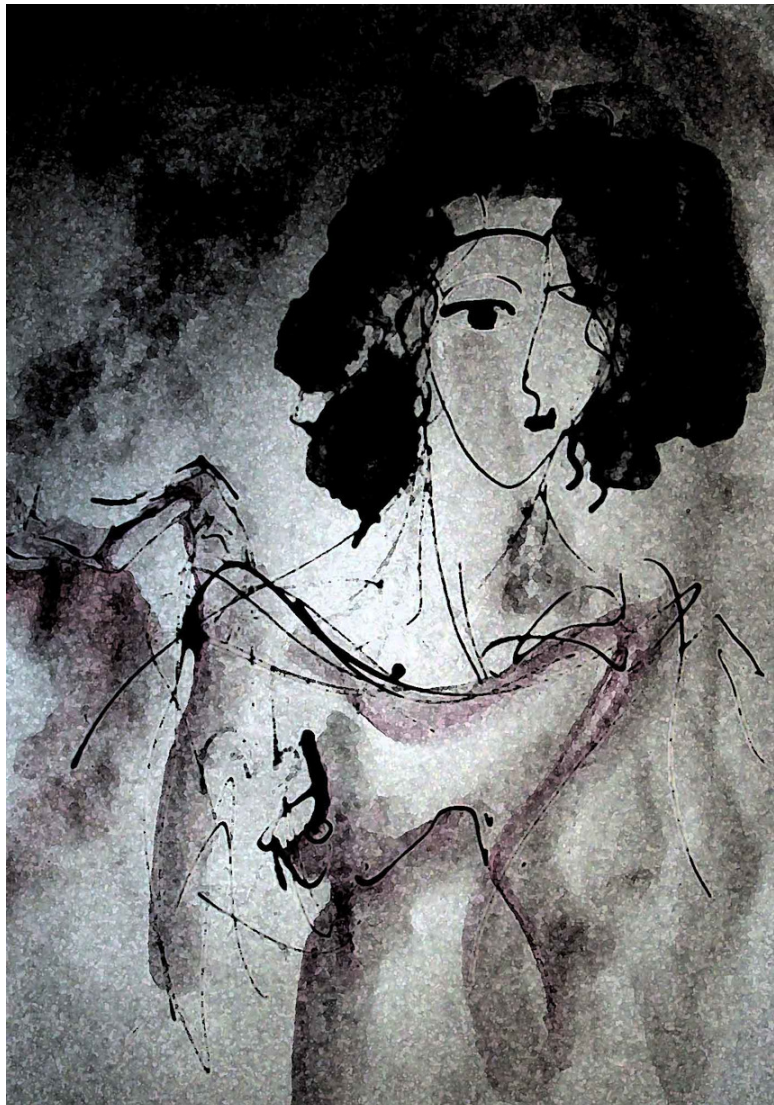
Потом, когда вы будете далеко, – на чужой планете, – посреди вечного холода и отчаянной мерзлоты, – промозглой топи и бессмысленной, отупляющей жары, – вы будете вспоминать дуновение ветерка, и видеть красивое там, где его, по идее, никогда не было

© Каринэ Арутюнова, 2015

© Даниэль Риос Солис, дизайн обложки, 2015

© Каринэ Вячеславовна Арутюнова, иллюстрации, 2015

Создано в интеллектуальной издательской системе
Ridero.ru



Она любила Маркеса

*Пройдет много лет, и полковник Аурелиано
Буэндия, стоя у стены в ожидании расстрела,
вспомнит тот далекий вечер, когда
отец взял его с собой посмотреть на лед.
Габриэль Гарсиа Маркес*

Она любила Маркеса. Кроме Маркеса, она любила Кор-
тасара и Карпентьера, а еще Мигеля Отеро Сильву, Сесара
Вальехо и Пабло Неруду.

Но Маркес, как бы это сказать.

Маркес был первым.

Про «Сто лет одиночества» она уже кое-что понимала.

Знакомые советовали обратиться к психиатру, или, на ху-
дой конец, невропатологу. В конце концов, каждый пережи-
вает этот странный неуклюжий возраст. Переживает и идет
далее. Не задерживаясь у школьного окна с полными гла-
зами слез.

Девочка любила Маркеса уже заранее. Авансом. Челов-
ек, написавший «Сто лет одиночества», что-то важное зна-

ет и о ней.

«Любовь во время чумы» придет позже, в свое время, конечно же. Она обрушится на нее и даже на некоторое время затмит то, первое.

Советы знакомых забудутся, как школьный двор, немытое окно, запах мастики, они останутся в какой-то другой жизни. Вместе со слезами по явно смешным поводам, смешным, пустячным и не очень.

Но не навсегда.

Об этом она вспомнит как-то, обнаружив себя стоящей у окна, и ту самую книгу подоконнике, раскрытую на той самой странице.

Можно сказать

Можно сказать, что выросла я в скучном районе, застроенном пятиэтажками, совершенно одинаковыми, – но это как кому.

Вот я бы, допустим, ни за что бы не спутала свою пятиэтажку с соседней, – там и подъезды пахли иначе, и стены были мрачней.

Наша была веселой. В «первой парадной» жила такая Таня, абсолютно бесстыжая Таня в такой бесстыжей юбке, и в нашей же располагался подвал домоуправления с шахматным кружком.

Можно сказать, что выросла я под книжной этажеркой – весьма хрупкой, или в палисаднике – не в первом, а как раз во втором, дальнем, или на лугу, который тогда был лугом, а не новым микрорайоном.

Можно сказать, что выросла я на растрепанной книжке братьев Гримм, или на «Голом короле», или на «Неуловимых».

Или на скамейке под фонарем, – с первым любовным посланием от Алика Б. из параллельного класса.

Или на похоронах Феликса, после чего мир не сошел с ума и не взорвался, и никто не отменил первый звонок и последний, а также морфологический разбор в конце предложения.

Или в лагере, в банный день, когда впервые увидела во-

жатую голой.

Или на дискотеке, когда все «наши» обрыгались, а приглашенные мною кубинцы продемонстрировали крайне неприличный танец, после чего процесс «взросления» охватил даже самые отсталые слои.

Или когда меня подстригли, и я весь день провела в шкафу, потому что все было кончено.

Или в гостинице «Советская», где мне, идущей по коридору школьнице в нелепых зимних одежках, улыбнулся взрослый мужчина лет двадцати?

Я затрудняюсь.

Может, все это был сон? И города, в котором я выросла, нет – ни на одной карте мира, ни в гугле, ни в яндексе, нигде.

Жизнь

В детстве я любила Мартина Лютера Кинга и Че Гевару.

Вообще, я любила все прогрессивное. Сочетание слов – «двадцать шесть бакинских комиссаров» – казалось магической аббревиатурой, понятной лишь посвященным.

Имя одного из двадцати шести было все же известно. Степан Шаумян.

Все они стояли рядом. Плечом к плечу. Степан Шаумян, Че Гевара и Мартин Лютер Кинг.

Со снимков на меня смотрели вдохновенные смуглые лица, – сердце мое успешно совмещало любовь к метисам, мулатам, кварталонам, цыганам и немножечко армянам. Все мятежное и непокорное находило мгновенный приют в моей душе. Ах, появиться бы мне на свет чуть раньше, чуть южнее, чуть западнее, восточней и северней, – в индейском вигваме, цыганском таборе или вообще в каком-нибудь штате Иллинойс. Вместо этого угораздило меня родиться в тривиальнейшем из мест на земле, в котором если что-то интересное и происходило, то, увы, без моего участия. В партизанских схронах и революционных митингах мне бы не было равных.

Единственное, чего я страшилась, были не пули, а, допустим, монотонность летнего дня, условно летнего, но от этого не менее промозглого, опровергающего минимальную возможность прожить его бурно и ошеломительно на каких-нибудь импровизированных баррикадах.

Отчего реальность так безжизненна, бесцветна, постыла?

Отчего в подъезде пахнет вчерашним супом и кошачьими ссаками, отчего вокруг живут все эти неинтересные люди, которым не то что баррикады...

Отчего ни одного из них не зовут Джон, Мартин или Лаура? Правда, в соседнем подъезде живет Давид, но и тот – врач-ухогорлонос, – пожилой и малоинтересный. Добрый, но какой-то совсем не героический. А по двору ходит старуха в обрезанных ботах и гнусавым голосом кричит: – Масюня! Масюня!

Отчего? Отчего мигают дневные лампы, освещая лица безрадостным светом?

Отчего так медленно ползет соседская старуха? Отчего нелепы ее одежды? Разве знакомо ей нетерпение и жар юности, разве может она думать о чем-нибудь еще, кроме пен-

сии, кефира и бессонницы?

Ведь так и пройдет бесследно жизнь, скроется за поворотом, как эта жалкая тень...

Мама мыла раму

Мне повезло.

Я застала настоящие дворы.

Помните дворовую стенгазету? Позор пьяницам и хулиганам, бездельникам и тунеядцам. Солидный дяденька-управдом в растопыренном на пузе пиджаке делает «нунуну» как-тусообразному человечку в брюках-дудочках (чуть позже – клеш), с носом, исколотым торчащими в разные стороны иголочками. С тех пор я всерьез полагала, что пьянство и тунеядство приводит именно к такой деформации носа.

Я застала дворовую стенгазету, товарищеские суды и синюю школьную форму.

Уже через год она стала коричневой, и надолго. Мальчики еще донашивали синие костюмчики из шерсти и синие же береты, но коричневый цвет постепенно вытеснял синий.

Школьные парты, те, первые, немного липкие от масляной краски, тесные, угрюмые, внезапно исчезли, уступив место изящным и легким, – почти прозрачным. Исчез запах краски, но не мастики, – рыжие паркетины влажно блестя, и это был запах начала года, – астры, мастика, влажная тряпица или губка, которую перед уроком полагалось смачи-

вать, выкручивать в туалете – до сих пор испытываю стойкую неприязнь к мокрым тряпкам.

Ведь мы полагали, что живем в настоящем мире, и мир этот существовал всегда, – парты, дворы, палисадники, доски почета и позора, управдомы в круглых соломенных шляпах, трехэтажное здание школы, грозная фигура завуча – женщины в костюме-джерси, строгом, но вполне женственном, одновременно скрывающем и подчеркивающим крутизну бедер и объем груди, – женщины со сложным именемотчеством – Лионелла Викентьевна, – со сложным сооружением на голове – этакой медной башней, устрашающе покачивающейся при ходьбе.

Мы полагали, что все это навсегда. Пятиэтажки, бельевые веревки, игры в «квача» и «штандера», в «прятки» и «жмурки».

Некоторые уверены, что прятки и жмурки – это одно и то же, – так вот нет!

Любая девочка, с утра до поздней ночи снующая по двору, назовет вам десять отличий.

Все очень просто.

Если вы не стояли, прижавшись спиной к стене мусорки, – если не сидели, затаив дыхание, за дверью подъезда,

или под ступеньками, ведущими в подвал, не чертили крестики, стрелки, нолики, – не метили асфальт таинственными знаками – ау, инопланетяне, – только вам под силу понять смысл иероглифов, проступающих сквозь разломы в земной коре, – мирнова – дура..., или Поля – жо..., или...

Если вы не жили в нашем дворе, то вам никогда не понять, чем прятки отличаются от жмурок, а казаки-разбойники от «море волнуется раз».

Игра в «представления» могла длиться часами, – да что там, днями, неделями, – школа была всего лишь досадной помехой, но все-таки, все-таки...

В портфеле помещались – резинка, да-да, настоящая резинка, которую вшивали в обычные трусы, – но длинная, в худшем случае, сшитая из многих маленьких, а в лучшем – цельная, упругая, натянутая – предмет зависти и вожделения, – резинка, и не одна, пупс, ванночка, одежды, набор бумажных куколок, азбука со вставляющимися буквами, – она была вкусной, эта азбука, и абсолютно бесполезной, так же как и натужное «мама мы-ла-ра-му», – все это натужно-мычащее, оно казалось смешным бегло читающей мне, но тем не менее, – азбука, а еще – грохочущий во втором, смежном отделении пенал...

Мы полагали, что все это навсегда, навечно, – корот-

кая школьная форма, старухи из первого подъезда, пыльная коробка со свернутыми лентами диафильмов, клеенка в школьной столовой, – стаканы с киселем, поднос с пирожками, запахи перловки и яблочного повидла.

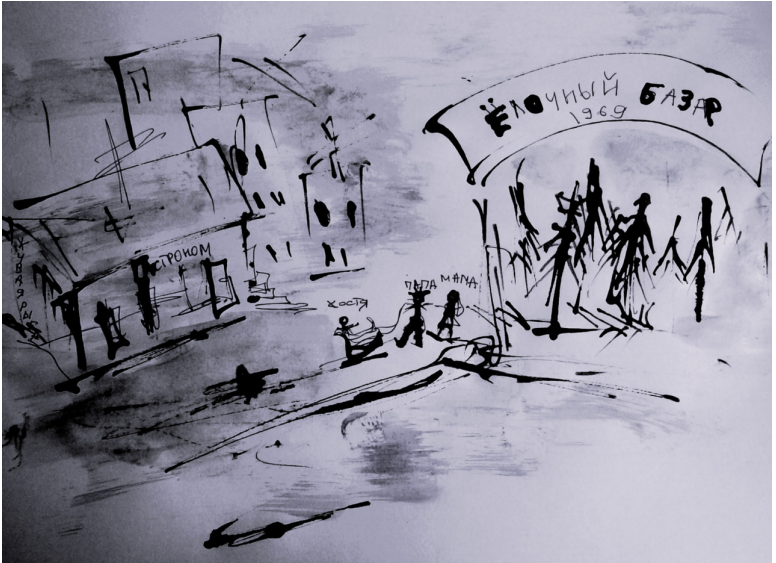
Я помню утро второго класса, сентябрьское, еще теплое, или день того же дня, уже после уроков, – мне полагалось часа полтора на «проветривание» головы, до приготовления домашнего задания на следующий день, – помню внезапно опустевший двор, шорох осенних листьев, щемящее чувство, – тоски? одиночества? предопределенности? – предстоящей зимы, школьных будней, утренних завтраков, дневных обедов, проверок, контрольных, сложений, вычитаний, разборов, собраний, пришиваний и отпарываний воротничков, манжет, – впервые я ощутила укол, не зная еще, не подозревая о дозе, – она будет увеличиваться с каждым годом, с каждой новой осенью будет угасать уверенность в том, что все это навсегда, – лето, качели, царапина на локте, ссадина на ноге, заросли лопуха и крыжовника, стенгазета, мокрая тряпка у доски, паркет, откидывающаяся крышка парты, чернила на промокашке, расщепленное надвое перо и мычание за спиной, – похожее на сон, страшный и одновременно сладкий, – мамамылараму.

Однажды я проснусь в испарине, – мне приснится глубокая старость, – лет двадцать пять, а то и больше, – но нет,

ошибка, – ошибка, – и сердце заколотится у горла, просясь наружу, – еще только шестнадцать, – я буду лежать с открытыми глазами, умножая в столбик и в строчку, – складывая, вычитая, деля...

Комод

Все эти добрые рождественские картинки с видом на заснеженную улицу – это же оттуда, родом из детства.



На санках можно было доехать – да хоть куда угодно! Допустим, в прачечную, в гастроном, в мебельный – в кварталах трех, а то и четырех от дома. А если ехать по Перова, а там завернуть за трамвайную линию... Как вкусно скрипе-

ли полозья, каким гладким был снег. Так и подмывало зачерпнуть горсть-другую...

Казалось, так было всегда. Скрип полозьев, застывшие в ожидании улицы. Звон трамвая вдалеке.

Там, за каждым светящимся окном – канун. Предвкушение. Смешная уютная суета между балконом, холодильником и сервантом. Хотя слово «сервант» лично мне казалось старомодным. Серванты – это у старушек. Стоило перешагнуть порог – и мир серванта, нафталиновых шариков и стариковского бормотания сменялся другим.

Рев тромбона, рык Армстронга, скороговорка Беко – магнитофонные ленты цеплялись одна за другую, наматывались на пальцы и щиколотки, хлипкие книжные полки кренились, угрожая обвалом. После мерного тиканья ходиков рваный ритм рок-н-ролла.

Смешно, но всего, что было после, я уже не вспомню. Нет, что-то мелькает, кружится... Как щиплет язык от шампанского! Всего этого я не помню. Зато дорогу...

Не верьте тому, кто скажет, что нам было плохо. Там, на окраине города, за двумя палисадниками и бульваром, был кинотеатр и птичий рынок, а еще – мебельный магазин!

Много ли человеку нужно для счастья? Допустим, сервант, а в нем – слоники – ровно семь, – именно то, что может пригодиться скучным зимним вечером, – слоники, фарфоровая пастушка, круглая коробка от монпансье. Пуговицы. Тяжелые, круглые, похожие на конфеты-тянучки, прямоугольные, будто ириски – плоские и тусклые, цвета слоновой кости – для белья. Их можно разложить на столе, – вот эти – важные, – король и королева, – а эти, бесцветные, – всего лишь подданные, мелкая челядь, кухонные адмиралы и их подчиненные. Стареющая фрейлина в пыльном кринолине. Дерзкий безусый паж. В ход идет старый подсвечник, шахматные ладьи, подушечка для иголок.

С какой радостью мы покидаем обжитые места!

Оказывается, там, за мебельным и птичьим рынком, трамвайная линия не обрывается.

Кто знает, как будет там. Кто знает. И, кроме того, сервант – он такой неподъемный, куда без него? Послушайте, но ведь как-то его вносили? Может, под каким-то особым углом? Кто вспомнит, как вносили сервант, детскую кроватку, – покупали посуду, – тарелки глубокие, для первых блюд, и мелкие, а еще блюдца, чайный сервиз – как без сервиза и серебряной ложечки «на зубок»?

Милая, куда подевался комод? Большой тяжелый комод, который стоял в том углу, помнишь? С такими выдвигающимися ящичками, поскрипывающими в тишине? Там был габардиновый костюм, дамская сумочка с квитанциями, совершенно новое платье.

Милая, мне казалось, это навсегда. Перевязанные бечевой связки писем с надписью «хранить вечно». Где они?

Неужели у кого-то поднялась рука? Мне даже вообразить это страшно. Они лежали в дальнем углу комода, вряд ли кому-то могли помешать.

Смешные слова

В детстве звезды были огромными, а вишни черными и сладкими. Ноги сводило от холодной воды, но выходить не хотелось, – стуча зубами, в очередной раз плюхались и вновь выскакивали, как посиневшие поплавки. Вода была в ушах, в носу, в глазах, но этого никто не замечал. Никто не задавался вопросом, зачем «баба сеяла горох», отчего именно горох, и отчего именно этот момент вызывал столько шума и мокрой радости.

В детстве все было важным. Мир слов не стоял особняком, он был живым и разнообразным, подвижным и вкусным. Он был страшным и потешным, неотделимым от сказочных чудовищ и скачущей на одной ножке Таньки с третьего этажа, которая говорила – мясо, веревка, пятерка, – от сумашедшего Люсика с вороной на голове, который пробежал мимо, совсем как Кролик из «Алисы в стране чудес». Только Кролик был джентльменом и бормотал по-английски, поглядывая на часы, свисающие на цепочке, а наш Люсик был огромной детиной в заячем треухе летом и зимой. Он бежал на полусогнутых, пугливо озираясь, обеими руками придерживая втянутую в пухлые плечи голову. Бормоча нечто неневнятное, – на каком языке, уже не вспомню, – возможно, это был какой-то специальный язык, полуптичий,

полубожественный.

Люсик, на голове ворона! Ворона на голове! – завидев Люсика, играющие во дворе дети уподоблялись гончим псам, и гнали несчастного, дразня невесть откуда взявшейся на голове вороной.

Был язык моей бабушки, которая оправдывалась, – а я по-русски не очень, – но раздражалась такими историями... Вставляя словечки на каком-то смешанном, необыкновенно смешном, точном и выразительном языке. Ну, например, «шифлodik». Это вам не какой-нибудь шкафчик.

Была тихая Любочка из первого подъезда, – сидя на нашей кухне, она бормотала, всхлипывала, причитала, – она была старая, всегда старая, больная, обиженная, – ее мир был маленьким, затхлым, печальным, но был он и пронзительно смешным, такой смех сквозь слезы.

А еще был мир моей «летней» бабушки, руки которой пахли сушеной дыней и лавашом, глаза которой были глубокими, грустными, будто припорошенными пеплом. Ранним утром она заплетала свои косы, потом – мои... Ахчик! – кричала она вслед с растопыренной пятерней, но меня уже не было, только краешек красного в белый горошек платья.

Улица была важней, – там торговали фантами, продавали сладчайшую газировку, «ситро», носились на трехколесных велосипедах, делились «жуйкой», раскрывали тайну деторождения, играли в пап и мам, во врача и больного, хоронили погибшего воробья, купали пупсов, шили одежды, – слова складывались из запахов двора, из звуков, из распахнутых окон, за которыми происходило ВСЕ.

Бушевал Танькин отец, растягивал гармонь Петро, добрый молодец с роскошным пшеничным чубом, кричала благим матом Криворучка, тонконогая и пузатая, с жидкой фигой на голове. За окнами ссорились, любили, вынашивали детей, воспитывали их громко, на потеху притихшему двору.

За окнами бормотали еврейские старухи, – ложечку за папу, ложечку за маму. За окнами месили тесто, варили холодец, клубничное варенье, в огромных чанах вываривали белье, – тут, главное, не переварить, – вы сколько синьки кладете?

В сказках все было настоящее, как в жизни. Как можно было не верить в злых ведьм, эльфов и гномов, когда на первом этаже жила Ивановна, и была она страшнее всех ведьм вместе взятых? С маленькой головкой, обтянутой платком, поджимающая будто подшитые на скорую руку губы.

Поздоровайся, – подталкивала меня в затылок мама, но я упрямо склоняла голову, опасаясь встретиться с крошечными недобрыми глазками.

В палисаднике за домом мы искали клад, я и еще двое мальчишек, – вдохновителем и организатором была, конечно же я, – мальчишки сопели, разрыхляя влажную землю детскими лопатками, – мне, в общем, все было давно ясно, но я продолжала подбадривать землекопов довольно фальшивым голосом.

Вам это ничего не напоминает?

А еще были истории. Истории, леденящие кровь, о белых простынях, блуждающих в потемках руках и головах, – истории эти рождались на закате солнца. Истории передавались из уст в уста, обрастали новыми подробностями. Задрав головы, мы высматривали лунных человечков, абсолютно уверенные, что те, в свою очередь, наблюдают за нами.

Слова, как пузырьки из мыльной пены, кружили над нашими головами, порхали как бабочки, испуганные, таинственные, чарующие.

Обратная сторона земли

Там, с обратной стороны Земли, люди ходят вниз головой.

Нет, не то чтобы совсем вниз, — только по отношению к нам, идущим как положено. А вот по отношению к ним вниз головами ходим уже мы. Ходим, торопимся, смеемся, грустим.

Какая из сторон обратная? А вот обе. Абсолютно обе.

Говорят, там живут наши двойники. Живет, например, точно такая как я. Интересно, неужели и платье у нее мое, красное, в белый горошек, и голый пупс в ванночке, и заросли дикого винограда выются с балкона первого этажа? Неужели длинный пятиэтажный дом, в котором живут обыкновенные люди? А может быть там, с обратной стороны, люди эти ведут себя по-другому, — вежливо раскланиваются при встрече и говорят по-китайски. Потому что Китай — он тоже примерно там находится, и двойник мой — дивная китаянка, живущая в бамбуковой хижине, а вовсе не в пятиэтажном доме на улице Перова. И Люсик — китаец, и Рыжая Га-лоша, и учительница младших классов, маленькая старушка в шерстяном платке.

Зовут ее Дина Хаскелевна. Некрасивая, сторбленная, она возникает на пороге, улыбается, кивает седой головой. Передвигается неслышно, в обрезанных войлочных сапожках. Ходит, будто утюжит натертый рыжей мастикой пол, вжик-вжик.

Однажды, – произносит она, – и выпускает из-под платка маленькие уютные ручки, – однажды, – говорит она тихо, так тихо, что слышна жужжащая за окном муха, – однажды, в одной стране, жил фараон.

Когда я слышу слово «однажды», меня два раза упрашивать не надо. Сорок пять минут пролетают как одна, и к дому я иду медленно, стараясь не расплескать это «однажды». Фараоны, их жены и сыновья, голодные и сытые коровы.

Медленно ползет караван по обратной стороне Земли. На золотой колеснице восседает многорукий фараон, а за ним тащится голодная корова. У коровы тощее иссохшее вымя и налитые печалью глаза.

Я горделиво озираю окрестности. Все эти люди – мои подданные. Подданные моего королевства. Старушки на скамейках, небритые мужчины у ларьков, заспанные продавщицы. Растущие у обочины васильки, примятые листья подорожника. Им и невдомек.

Ведь настоящий король, он всегда немножечко нищий, он такой... специальный король, внутренний. Он может спокойно прогуливаться по бульвару Перова и пить трехкопечную газировку. Настоящий король ничем не отличается от своего народа.

Только однажды... Вы слышите? Однажды...

Кто-то хватает меня за ворот платья. Визжат тормоза.

– Ты что, ослепла? Куда прешь?

Огромный детина в полосатой тенниске выскакивает из кабины грузовика. Он озирается по сторонам, и лицо у него растерянное, пунцовое.

– Ты хоть понимаешь? Мне что, в тюрьму из-за тебя садиться? Ты где живешь?

Живу я напротив, и, всякий раз, переходя через дорогу, смотрю на наши окна. Я жила здесь всегда.

Дом – это такое место... В общем, оно навсегда. Щербатые ступеньки, скособоченный почтовый ящик, обитая дерматином дверь, падающие с дерева «марельки». Такие ма-

ленькие твердые абрикосы. Их можно есть зелеными, так же, как и кислющие райские яблочки. Яблочки скатываются под ноги, ударяют по макушке.

Отсюда никуда не уезжают. Разве что однажды...

Навсегда алкоголичка дядя Степа. Иногда ее называют старой перечницей. Ну, старая – это понятно. А почему перечница? А потому что нос у нее – огромной картофелиной, мясистым мятым перцем, да еще и в таких забавных черных крапинках и глубоких рытвинах. Иногда пахнет от нее странно, очень странно.

Покачиваясь, стоит она на ступеньках, улыбается мягкой, слезливой, неприятной улыбкой. Морщинистое лицо разъезжается в стороны. Заплывший глаз закатывается под самый лоб, а нос, он уже не перец, а целая груша, – раскачивается над подбородком, – туда-сюда.

Дядя Степа озабоченно роется в черной, истертой на сгибах кошелке. Пахнет от кошелки чем-то тяжелым, удушающим.

– На вот, деточка, возьми ириску.

Ириска липкая, пачкает ладонь. Я осторожно кладу ее

на подоконник в пролете второго этажа.

Там, с обратной стороны Земли, похожая на меня девочка в перекрученном черном фартуке так же медленно поднимается по ступенькам. А та, другая, семенит в сторону гастронома, раскачиваясь на ходу вместе с носом и потертой кошелкой. Когда-то ее звали... Впрочем, это неважно. Когда-то ее звали женским именем. Простым и благозвучным.

Однажды, в одной стране, жил фараон.

У него была золотая колесница и прекрасная жена. Колесница колесила по прекрасной, волшебной стране с бесплатной газировкой (три копейки стакан), бесплатными жареными семечками и бесплатным кремом от бисквитного торта. Кремовые завитушки, похожие на собор Василия Блаженного (я видела на открытке).

Там, в этой волшебной стране, каждой старушке полагалась куча ирисок «Золотой ключик». Только успевай. В распахнутые кошелки сыпались конфеты, леденцы, шоколад. Каждой старушке полагался эскорт из вежливых девочек и мальчиков в ослепительно-алых галстуках.

Эскорт переводит старушек через дорогу и отдает честь.

– Я миленка полюбила, я миленку отдалась, – так и есть, – хлопает входная дверь, это возвращается совсем веселая дядя Степа. То есть, теперь ее веселье немножечко буйное, опасное даже. Она спотыкается и произносит слова... Это такие слова, которые не следует повторять детям. Чертыхается и спотыкается снова.

– Я миленка, – она стучит в собственную дверь, – открой, курва старая, открой, – садится на ступеньки и плачет.

Странно, в однокомнатной квартире дяди Степы никто, кроме нее самой, не живет. Тогда кто же тогда...

Я припадаю к замочной скважине и вижу, как шарит она по дну кошелки в поисках ключа. Всхлипывает и сморкается прямо на пол.

Однажды, в одной стране, жили одни люди. Обычные люди. Обычные, да не совсем. Они катались на трамваях, ходили в цирк, стояли в очередях, спускались по ступенькам. У них, у этих людей, все было как у нас. Пятиэтажные дома и темные подъезды. Лестничные клетки и тесные комнаты. Папиросы «Беломор-канал», конфеты «Золотой ключик», кремовые завитушки и полные жмени жареных черных семечек. Облигации государственного займа, сложенные вчетверо и лежащие в комоде, в стопках глаженного бе-

ля.

Белые шарики нафталина. Несметные орды клопов. Полчища рыжих тараканов. Алюминиевые кастрюли, чугунные сковородки, деревянные прищепки. Мастика. Никелированные шарики кроватей, группы продленного дня. Дворовая стенгазета, шахматный кружок. Метро, самое красивое в мире. Статуя пионерки с отбитым носом. Горн, построение, поднятие флага. Политинформация, товарищеский суд.

Это были очень счастливые люди. Насколько могут быть счастливыми те, кто ходит вниз головой.

На противоположной стороне Земли, разумеется, от нас, идущих головами вверх.

Жизнь впереди

.Вот так всегда. Из ничего.

Трамвай, идущий до таинственной «зупинки». Неуклюжие бабы с корзинами, острые запахи другой жизни.

В детском саду нас, осатаневших от жары, потчуют бражкой. Бражку можно пить, пока не заноят зубы и не нальется тяжестью низ живота, – хмельную, воздушно-игривую. Няньки в тени хлещут полные ноги наломанными тут же ветками ивы.

Впереди – лето.

Жара, сухостой, затяжные дожди. Ливни. Ливень будто оползень, – обваливается с ближайшего облака черной стеной.

Стуча зубами, прячемся под крышей веранды. Лееетооо. В зарослях лопуха крыжовенный куст, полная тарелка красных, желтых, зеленых ягод.

Слухи вползают в форточку, – будто сводки с передовой. Ведро смородины – двадцать рублей, слуханное ли дело?

А на Житнем – двадцать пять. Дешевле не будет.

Набухает небо дождем, – люди в черном стоят у подъезда.

В специальных негнущихся костюмах и строгих платьях со складками. Не смотри, не смотри, не смотри, – а как же не смотреть, когда слышно, – слышно везде, – оркестр играет вразнобой, врасстяжку, особенно страшен одинокий вопль

трубы, — я затыкаю уши и ныряю под подушки. Ведь оно закончится, как и дождь, — и угрюмые люди в черном окажутся всего лишь соседями с пятого этажа.

Мы играем в «секретик». Махровые лепестки, расправленная фольга, серебряная и золотая, разноцветные стеклышки. Сквозь них все кажется изумрудным, — дом, скамейка, платье, аллея.

Мы зарываем тайну. Пусть только найдут, пусть попробуют. Пусть только доберутся, — «секретик» трамбуется влажной землей и посыпается листьями. Украшается веткой. Или спичечным домиком.

В домике живет шмель. Это не просто шмель, а король шмелей, — гудит тревожно, скребет железными лапами.

Шмель — если хотите знать, — это самое страшное. Особенно если случайно залетит в горло. Этот, в коробке, уже никуда не залетит. Он будет сидеть на холме, сторожить секрет.

Ах, бесстыжие! Куда ветки рвать? А если голову? — на расстоянии вытянутой руки хлопает входная дверь «парадной», и нас, таинственно шуршащих фантами, сдувает в момент.

Никто не знает, сколько ей лет. Может, сто, а может, и больше. Вначале раздается стук, а потом — сухой кашель. Кашель лающий, затяжной. Говорят, она курит табак, такую специальную трубку. Зовут ее Череп. Зимой и летом она ходит в плаще-болоньи и черных ботах. Лицо похоже на скорлупу грецкого ореха. Глаза прячутся за черными очками.

Только один раз, всего один раз нам повезло. Когда на Череп наехал велосипед, и очки слетели с крючковатого носа, мы увидели глаза. Крохотные, запавшие, совсем не такие грозные. Затянутые пленкой сморщенных век. Звякнули бутылки в капроновой авоське. Чертыхаясь, Череп долго поднималась, шаря ладонями по бровке. Никто ей не помог. Все будто окаменели от ужаса.

Я не знаю, бывает ли что-то страшнее черепа. На трансформаторной будке напротив второго подъезда точно такой нарисован, а под ним – скрещенные кости. Мне кажется, там кто-то живет. Очень напряженной, тревожной жизнью. Как шмель в коробке. Какой-нибудь замученный оккупантами партизан. Не всех же убили. Некоторые ходят по улицам в орденах, а у некоторых – еще и синие наколки. Бывшие партизаны играют в домино в сквере напротив и, обмахиваясь газетой «Правда», требуют уважения. Один бывший партизан выступал в школе. Классная просто светилась, что смогла заполучить такой редкостный экземпляр. Партизан вначале говорил скучными заученными фразами, а потом – разошелся не на шутку. Его ладони взлетали над головой и пикировали на неведомую цель, а красное, изрезанное глубокими морщинами лицо сияло. Наверное, ему казалось, что он идет в атаку, бомбит фрицев, и вся жизнь – впереди.

Мне жаль старых людей. У них вены, «почти совсем новая обувь» и что-то «на черный день». Они ждут этого самого дня уже давно. Старые люди нашего двора уже никуда

не едут и не идут, разве что в аптеку, гастроном и в овощной. Ну, и, конечно, на рынок. Рынок дорогой, «страшно кусается», и, если, например, сезон клубники, то это для внуков.

Иногда они вспоминают молодость. Например, вместе с каким-нибудь легкомысленным мотивчиком, от которого не так-то просто отделаться. Тогда глаза у них делаются озорные и мечтательные, а потом все-таки грустные.

Зато у старых людей бывает пенсия. Им не приходится ездить на работу, вставать в семь утра, давиться в душном трамвае туда и обратно.

Вставать в семь утра им не нужно, но они упорно просыпаются в пять, четыре, три...

Иногда вообще не спят. Сидят на кухне, у окна, бормочут. Что их ужасно, по-настоящему огорчает, так это катышки. Обычные серые катышки, похожие на муравьев.

– Смотри, – жалуются они, – это почти совсем новая кофточка, а уже катышки.

Кофточка подрагивает на вытянутых руках, совершенно новая, почти не надеванная.

– Катышки, – говорят они, – и разводят руками, – будто весь мир ополчился против них.

Душа баклажана

Вместо господ бога у нас был Он.

Вполне уютный старичок (в далеком детстве иным он и не казался), всегда готовый понять, утешить, дать мудрый совет.

«Я сижу на вишенке, не могу накушаться. Дядя Ленин говорит, надо маму слушаться».

Нестройный хор детских голосов вторил на разные лады...

Мы всегда могли задрать головы и убедиться в том, что он существует. Рядом. Всегда живой. Добрый и чуткий. Если и мог пригрозить, – то с отеческой укоризной, с прищуром дальновидных глаз.

Все детские утренники, начиная с новогодней елки и заканчивая днем космонавта, происходили в непосредственной близости от Него. Даже если это была только голова, скромный бюстик, мраморный, бронзовый, любой.

Шаркая чешками, мы приседали, кружились в хорово-

де, – взявшись за руки, пели и декламировали, кто в лес, кто по дрова.

Танцевать я была мастак. А вот с декламацией дело обстояло из рук вон. Прочувствованные тексты мне не доверяли. Интуитивно ощущали слабинку.

И если в костюме снежинки или кабачка я была неподражаема...

Лучше всего удавались мне бессловесные роли. Без идеологического подтекста.

То ли дело Леночка Е. – предмет моего восторга.

Ладненькая, ясноглазая, она четко проговаривала все гласные и согласные, шипящие, рыкающие. Восхищенный зал аплодировал стоя, в то время как я, бессловесный овощ, делала пассы, семенила, притоптывала и раскачивалась, как того требовал сценарий.

По сценарию я была баклажан.

Конечно, это было обидно. Порой хотелось откинуть лиловое забрало, и так же блистая глазами, воскликнуть: – Ленин всегда живой!

Но мне вряд ли поверили бы.

С грустью я провожала глазами тех, кто удостоился.

Из октябратского значка я выросла, до галстука не доросла.

Тот, первый, купленный в отделе галантереи, – неподалеку красовались пугающие размерами и формой предметы женской гордости, но до этого было еще далеко, и потому равнодушным, хоть и встревоженным взглядом скользила я по всем этим выпуклостям, – мало что могло взволновать меня тогда, в эти предзимние месяцы.

Меня туда не впускали, как прочих, – недостойна, недостойна, – ну да, живости во мне было хоть отбавляй, и на линейке я облажалась, выпалив какую-то очевидную всем дурость, и приближались ноябрьские, – они вселяли хрупкую надежду всем недостойным, – а оставалось нас трое, – я, уверенная (по крайней мере в первой четверти) хорошистка, и еще двое.

Существа из низшего (как казалось мне) сословия, – абсолютные пофигисты, двоечники, неудачники. Маргиналы.

Объединяло нас одно – неблагонадежность. Да, все-таки в среднем у меня был «уд» по поведению, но дневник пестрил хищными росчерками и знаками, выражающими степень крайнего возмущения и угасающей надежды – «опять! Забыла!!!! В последний раз! Почему????»

Я постоянно забывала – дневник, тетрадь, прийти, надеть, пришить, – о, эта утренняя и вечерняя мука – торопливого пришивания, отпарывания и опять пришивания воротничков и манжет.

Я забывала дневник, показать дневник, сдать рубль, сдать пять...

В общем, веры мне не было.

Пионервожатой была длинноногая Людочка, – она так лихо носила прелестную обтягивающую бедра юбку, а галстук так дерзко развевался на юной груди, – о, боги, – я шла за нею по пятам, мечтая хоть на секунду стать такой же, – взрослой, уверенной в себе, собирающей десятки восхищенных взглядов.

Я мечтала о пионерской форме, – я бредила этой юбочкой и рубашечкой, и алой атласной тканью.

– Возможно, на ноябрьские, – небрежно обронила она, деловито цокая каблучками, – и сердце мое преисполнилось.

Вы помните, сколько стоил галстук?

Мечта девятилетней девочки, застывшей у прилавка в галантерейном отделе.

В тот день было холодно, еще не мороз, но конец осени, хмурый ноябрь.

Я шла в распахнутом пальто, с трепещущим, развевающимся, – да, именно так, плещущимся на ветру...

Обряд инициации состоялся. Запах нежилого помещения, свежей мастики, волнения – мы взмокли как воробьи, – последние из могикан, неблагонадежные и неперспективные.

Я шла по красной дорожке.

Каждый шаг отдавался в ушах, в глазах рябило от белого, алого, багрового...

Я ощущала себя... бабочкой, прорвавшей кокон.

Новенький галстук, сданный еще накануне, с прохладным

шелестом коснулся щеки.

Я видела себя идущей по главной аллее, входящей в подъезд, – всех соседей, изумленно приветствующих меня, – злобную Ивановну, ее мужа – белоглазого полиция (как выяснилось, он и был полицаем, но это другая история), жирнягу и задавалу Сомова из второго подъезда, а, главное, Женю Розенфельда, который в прошлый четверг засунул мне за шиворот дохлую гусеницу.

Рокот барабанных палочек. Срывающийся голос, – шепот? крик? – мой? Чужой? Общий?

Я опять забыла слова. Я открывала и закрывала рот, умоляюще поглядывая на застывших в почетном карауле пионеров. Шевеля ледяными губами, я замерла под немигающим бронзовым взглядом. Ведь даже у бессловесного баклажана есть душа. Маленькая, лиловая, смешная, она тянется к свету, к торжеству справедливости, она, если хотите знать, за мир во всем мире, – за это... пролетарии... всех... проклятьем заклей... мленный..

К счастью, рокот палочек заглушил все прочие звуки, слова и междометия. Мои, пионервожатой Людочки, приглашенного по случаю ответственного товарища из гороно...

Он заглушил сдавленное похрюкивание в задних рядах и облегченный выдох по окончании торжественной церемонии.

Голоса

Когда-то площадей не было, то есть, они были, конечно, но ассоциировались с портретами генсеков, каракулевыми папахами и майскими демонстрациями.

Все самое важное происходило на кухне с потрескивающим приемником в углу. Вот это потрескивание было приметой времени. Потрескивание и, конечно же, голоса, которые сквозь него пробивались. «Их» глушилки работали хорошо, но и мы обладали терпением и сноровкой. Приемник переносился из угла в угол, – в поисках свободного от «их» влияния пространства. Кроме того, уследить за всеми они не успевали. Мы прыгали с волны на волну, мы путали следы, и, если «голос Америки» утопал в космическом скрежете и вое, то немецкая волна звучала на удивление чисто.

Там, в приемнике моего детства, происходила своя, не похожая ни на что жизнь. Там были другие голоса, интонации, – так непохожие на голоса, допустим, соседей или учителей школы. Там был другой фон. Их паузы заполнены были... другим воздухом, что ли.

Мне повезло. Мне перепало этого воздуха. Я дышала им дома, на кухне или в кабинете, – о, сколько нерешенных за-

дачек по геометрии или физике оставалось там, за стеной...

Главное было – голоса. Позывные из другого мира. Это было настоящее.

– Ты там лишнего не болтай, – уж будьте уверены, – я точно знала – что, кому, когда...

О, как мы молчали! Как мы молчали когда-то, – глядя в глаза «чужим», мы овладели искусством виртуозного молчания.

Дети с легкостью усваивают правила игры. Можно сказать, они играют «на равных» со взрослыми. Как я молчала «через стол»! Мое молчание было красноречивей любых действий.

«Если долго не отводить взгляд, враг потеряется, он просто провалится, не выдержав энергии неприятия».

Дай чужому выговориться, – пусть, обманутый молчанием, он скажет все, и даже больше. Пускай, захваченный врасплох, он станет простодушно-болтлив. Нам и не нужно было говорить, – достаточно было короткого взгляда, предупреждающего об опасности.

Наверное, оттуда, из сумрачных времен коротковолновых приемников, осталось это дьявольское наитие. Я четко знала, что из десятиерых сидящих за столом, один – непременно чужой.

Я знала их в лицо. да что там...

После «чужих» мы долго проветривали квартиру. Казалось, их пребывание оставляло липкие следы. Да что же это, – стонала мама, распахивая балконную дверь. Гнусная субстанция цеплялась за выступы и углы.

Она не желала покидать обжитое пространство.

Сегодня правила игры изменились. Эзопов язык со всеми его фантастическими возможностями канул в Лету. В прошлом осталось виртуозное искусство недомолвок. В доме моем не бывает чужих. Не нужно оттачивать клинок, «смотреть через стол», задерживая дыхание.

Топчан, застеленный ковром, полки, книги, магнитофонные ленты, – все давно в прошлом.

Где-то там шипит и воеет приемник, стрекочет пишущая машинка. Кухня пахнет едой, – кабинет – книжной пылью.

Но где-то там, на волнах моего детства, еще слышны голоса.

Однажды Ваня запряг

Тетя Ляля читала мне на ночь «тетя тетя кошка, выгляни в окошко».

А еще она с готовностью выслушивала опусы про мальчика Ваню из глухой сибирской деревушки. Папа называл это тысяча первой рассказкой, а я немного обижалась, но ненадолго, потому что в запасе у меня была тетя, которая не скупилась на похвалу, с готовностью грустила или захлебывалась особенным, «тетилиялиным» смехом.

Отчего эти восторженные городские девочки так любят быт русской деревни, – всю эту развесистую клюкву, почерпнутую из русских народных же сказок, и протяжной, как стон бурлака на Волге, протяжной прозе добротных исконных певцов русского быта, все эти «онучи», «озимые» и «рассупонив».

«Эх, прокачу» появилось чуть позже, вместе с кокетливой антилопой-Гну и «радикально-черным цветом» волос незадачливого миллиардера.

Фраза «Эх, жили люди» прочно ассоциируется с разнужданным гулянием, растратой казенных средств и унылым ме-

шочком зада растратчика.

Мальчика Ваню я любила. Я ваяла его с усердием, не заботясь о том, чтобы быть пойманной на откровенном плагиате.

Поблизости дышала чеховская степь, и бледные герои Достоевского оживали под моим неутомимым пером. Мучительная ипохондрия сменялась нервической взвинченностью.

Алеша Пешков запрокидывал мечтательное скуластое лицо, – уж будьте уверены, его университеты стали и моими... Я перечитывала их жадно, – сочувствуя, очаровываясь, переживая все стадии познания и взросления юного мужчины.

А граф Толстой! А нежный Аксаков!

А Гарин-Михайловский! Кто не читал «Детства Темы» (со всеми продолжениями, вплоть до «инженеров»), тот не читал ничего.

Так что о мальчиках я знала значительно шире и глубже, нежели о девочках. Подробней. Масштабней.

И потому, не без оснований, частенько рассуждала и поступала как мальчик.

Ведь, чтобы писать о мальчике или от его лица, нужно немножко им стать.

Ведь девочкой я успею всегда! Не говоря уже о тетеньке и старушке.

Примерно так рассуждала я, склонив голову над общей тетрадкой в линейку, заведенной исключительно для творческих опытов, «однажды Ваня запряг...»

Нарды

Шаварш родил Самвела, Самвел родил Гора.

Самвел родил Гора, построил дом, посадил дерево.

Он стоял на пороге и лепетал что-то бессвязное. Он был, действительно, огромный, этот парнишка...

Как оказалось, Самвел – племянник моего папы и мой, соответственно, брат.

Это так здорово – иметь старшего брата!

Лет в тринадцать-четырнадцать я обзавелась невероятным количеством братьев и сестер. Очень разных, – черноволосых, смуглых, медных, белокожих и огненно-рыжих. Сестренки-погодки, подозреваю, сводили с ума мужское население Кафана (Капана) и окрестностей. Юные, длинноногие, сияющие, точно умытые родниковой водой, они щебетали с обеих сторон, – то по-армянски, то по-русски.

Казалось, испепеляющее августовское солнце, уже в девять утра проникающее во все щели, обходит их стороной, щадит.

Это же от него, от солнца – разбрызганные по скулам веснушки, и от него – буйство волос, – от красной раскаленной меди до стекающего по спине золотого руна.

Держась за руки, они взлетали по ступеням, – туда, наверх, где королевский тут и алыча, и ореховое дерево, в тени которого старый дом.

Чуть позже я уже знала, что тоненькие Аллочка и Сона – это род рыжих, – Цахкануш и Рубена, которые родили Лауру, Лену, Юру, Сурена...

А Самвел и Сусанна – дети Шаварша и Шушик.

Еще позже я, наконец, запомнила, кто кому брат и дядя. Такие разные – грузная, смуглая Шушик и светлокожая царственная Цахкануш – сестры моего деда.

Но это все позже, потом.

Это потом будут абрикосовые деревья в Мерцаване, – Мер-ца-ван – вы слышите мер-ца-ние этого звука? – это там, в Мерцаване я ела самый вкусный в моей жизни лаваш, тонкий, будто папирус, – он вращался в темных жилистых руках уже немолодой женщины с озерами сияющих на изможден-

ном лице глаз...

Это потом будет жертвоприношение крутолобого барашка, разрушенный дом в деревне Шикагох, явление миниатюрной старушки, возникшей будто по мановению волшебной палочки.

Казалось, лет ей не менее ста... Она долго причитала на груди моего отца, но через некоторое время опомнилась и вынесла каждому по стакану холодного мацуна. Глаза у нее были детские, редкостной голубизны...

Это потом будут горы – и поездка на роскошной по тем временам белой волге

(да, после того как я написала об этом в одном из интервью, мне позвонил брат и уточнил – не жигули, а волга, белая волга была у Каджика) – мы неслись по горному серпантину, и Каджик – наш водитель и дальний родственник, – мужчина ослепительной киношной красоты (красно-рыжий, горбоносый, атлетически сложенный, – в белом же джинсовом костюме, неистово жал на педаль под дребезжание касетного магнитофона, – « аравай-вай-вай-вай-вай-вай »).

Нас трое – папа, мой шестилетний брат и я, мужественно преодолевающая тошноту, – обратно мы петляли в крошечной тишине и темноте, что называется, на ощупь, – в пре-

красной белой машине Каджика отказали тормоза, и наше благополучное «приземление» можно было считать абсолютным чудом.

Это потом будет Ереван, запах свежееиспеченного матнакаша, натянутые между домами бельевые веревки с разноцветными одежками, истошный женский вопль, – ахчик!

Это потом будет бессонная, насыщенная звуками и запахами ночь, балкон тринадцатого этажа, звук зурны, дудука, поющие фонтаны, девушки в розовых, белых, персиковых платьях, – на их фоне я запаникую и потребую нарядов, – вдруг мне окажется важным, чрезвычайно важным, во что я одета и как выгляжу.

Словом, все это будет потом.

А вначале – застенчивый богатырь, едва выговаривающий русские слова нам, застывшим на пороге.

Я вглядывалась в незнакомого юношу.

Разве могут быть у мужчины такие глаза? Такие... невероятно грустные, как будто даже зеркальные, – обрамленные густыми, загнутыми, точно у восточной принцессы, ресницами... Грустные и добрые.

Больше ни у кого я не видела подобных глаз. Ироничных – да, умных – сколько угодно, – насмешливых – не вопрос, – ясных, гневных, печальных, веселых...

Но такой доброты... Доброты, которая начало всему, – не потому, что хорошо быть добрым, а потому, что по-другому просто не бывает.

Глаза Самвела я могла бы сравнить разве что с глазами бабушки Ривы, – Реввеки, – уже из другого дома и другой истории.

Если вы думаете, что на лице моего кузена выдающимися были только глаза, то глубоко ошибаетесь.

Нос.

Самым выдающимся был нос. Он, этот самый нос, жил своей жизнью, совершенно отдельной от всего остального. Если бы не нос, Самвела можно было бы назвать красивым.

Хотя, что такое эта самая красота?

Вы видите нос, а потом – глаза, а потом – руки, сильные мужские руки, которые умеют любить. Женщину, ребенка,

дерево...

В руках у Самвела было нечто прямоугольное, что-то вроде доски. И это «нечто» вкусно пахло лаком и деревом.

Так у нас появились нарды.

Настоящие нарды, сотворенные руками незнакомого брата..

Самвел был молчун.

По-русски он изъяснялся неважно – то есть да, говорил, но с паузами, ошибками... А я, к стыду своему, не знала армянского. К тому же, оба мы безобразно смущались, – он – незнания языка, незнакомого дома, – я – его смущению, собственной подростковой ненаходчивости и неуклюжести.

Зато у нас были нарды.

Трик-так, – так весело подпрыгивали костяшки, и хищно зависала рука над доской, и можно было не говорить, а поглядывать друг на друга хитро и многозначительно – ну что, еще партию?

Теперь у нас были нарды, и запах свежего лака (я слы-

шу его и сегодня), и благородного дерева, и далекой залитой солнцем улицы, вдоль которой веселые дома из туфа, стройные ряды чинар, ступеньки, ведущие к дому Шушик и Шаварша, Цахкануш и Рубена, – я могла бы родиться рыжей и белокожей, как Сона, а могла бы – застенчивой и смуглой, как Самвел, а могла

На улицах детства

Мне не хватает еврейских лиц.

Нет, они, несомненно, существуют. Если функционируют и процветает «Хэсед» значит, есть еще островки, осколки еврейского мира.

Даже в нашем доме, слава Создателю, пара штук в наличии.

Евреи есть. И синагога, и продуктовая лавка при ней с самым дорогим в мире хумусом. Есть еврейские школы и садики, лагеря и воспитатели. Слава богу, все это еще есть.

Но еврейских лиц нет. Нет лиц, нет стариков, нет детей, нет взрослых.

Я не хочу ехать в специальное место, – школу и лагерь, чтобы встретить обычного еврейского ребенка или старика. Мне не нужна бесплатная столовая при известной организации.

Мне нужны просто люди. Чтобы я встречала их случайно и не обязательно по большим еврейским праздникам при раздаче мацы и сладкого вина.

Я хочу сесть в трамвай и увидеть еврея. Я хочу увидеть

его в метро и автобусе, и даже – чем черт не шутит, в пригородной электричке.

Когда я была маленькая, то часто слышала, – езжайте в свой Израиль! Чтобы услышать эту фразу, совсем необязательно быть евреем.

Пришло время, и я все-таки уехала. Грех жаловаться, с еврейскими лицами ТАМ полный порядок.

Но я опять затосковала. Хотя, по моим подсчетам, почти все НАШИ уже были там.

Мне опять не хватало, – нет, не то чтобы откровенно семитских черт, – с этим все обстояло замечательно! – и в автобусе, и в поликлинике, и на базаре.

Черт его знает, чего именно мне не хватало ТАМ и не хватает ЗДЕСЬ.

Кто знает, в чем тут дело.

Мне не хватает Ады Израильевны, известного детского педиатра. Уже немолодой, но обжигающе прекрасной женщины с такими блестящими смеющимися глазами.

А где наш нацмен? – улыбалась она, и это был единственный врач, которого я не боялась. Я выходила из-за занавески, потому что Ада Израильевна была моя тайная любовь. Я замирала, когда она касалась меня.

Где есть любовь, там нет страха. Где есть любовь, там бессильны ангина и желудочный грипп.

Ада Израильевна уехала, давно, очень давно, и на смену ей пришли безразличные тетки с холодными руками. Им бы-

ло все равно. Им было все равно, – отчего ребенок бледный или вялый, отчего он мало кушает и плохо спит, – они грубо раздирали горло ложкой, брезгливо вытирали руки и выписывали рецепт.

Мне не хватает суетливого Лени с первого этажа. Скандалистки Фаины с пятого, Давида с третьего.

Мне не хватает Исаака, Якова, Иуды, Нафтали...

Иосифа, Иссахара, Реувена...

Дана, Шимона, Леви...

Мне не хватает смеющихся и плачущих стариков там, на улицах моего детства.

Идентификация

В детстве я любила вермишель «по-флотски», томатный сок и каменную соль.

При виде вермишели буквально дрожала, а соль тщательно вылизывала прямо из солонки.

Армяне любят соль, – с гордостью говорил папа, и я, конечно, старалась. Ох, как же я старалась ради словечка отцовского одобрения. Все лизала и лизала горькую соль, пока язык не делался шершавым как наждак.

Армяне любят соль, – посмеивался папа, и я с замиранием отслеживала движение, которым пучок зелени погружался в солонку, а затем плавно подносился ко рту.

Роняя слезы, жевала острый, очень острый сыр. Он крошился в пальцах и оставлял едкое послевкусие.

Еще я ела лимон без сахара и пылающую аджику.

Стремительно заглатывала адскую корочку бастурмы.

Острое, горькое и соленое. Будто причащение, суровый обряд инициации.

Чай мы пили без сахара. Горький черный, с привкусом древесины, и отдающий рыбой зеленый. Из маленьких белых пиал, как это принято на востоке.

Зато в другом доме чай был сладким. Он был таким сладким, что в горле першило, и второй стакан казался лишним. Пили чай с сахаром из высоких стаканов, и ели сла-

дости. Сладким было все. Марципановые завитки, клубничный компот, густая наливка из маленьких черных вишен... Сладкая хала лежала на столе, пышная как купчиха, блистала жаркими боками. Все здесь было мягким. Подушка-думочка уютно подпирала спину, глаза смыкались сами собой. Не правда ли, от слова «мамтаким» становится сладко?

А слово «марор» – горькое, как правда, которой не избежать?

Глаза смыкались, и за столом оставались взрослые. Уже они знали толк в горьком. Хрен, горчица, селедка...

Дети успеют, пусть им будет пока сладко. Еще успеют, – вздыхали взрослые, и глаза их блестели как черные горькие маслины.

Горькое, сладкое, соленое.

Говорящая голова фаршированного карпа всплывала в моих снах. Из рта его торчала веточка розмарина, – ах, – выдыхал карп и со стоном переворачивался на блюде. И я в страхе просыпалась, и бежала туда, где стоял маленький заварник с надтреснутым носиком, и горек был чай из него.

Наперченные полоски бастурмы и острые веточки тархуна сплетались надежнейшим из объятий.

Мы – дети солнца, – посмеиваясь, говорил отец, и я самоотверженно ловила обжигающие лучи, полагая, что коже моей не страшны ожоги. Я съела пуд соли и проскочила огненные кольца. Я успела, я соскочила с подножки, вышибла окно и не оглядываясь понеслась прочь, путая следы. Я ду-

мала, что неуязвима.

Переполненный людьми автобус петлял над обрывом. Я помню их лица.

Ешь соль, дочка, ешь соль, – и я ела, ела, провожая его глазами. Один, другой, третий. В том краю шли горькие дожди и светило горькое солнце.

Их больше нет, но что-то должно оставаться у меня, что-то важное, напоминающее о том, что я – это только я, и никто иной.

Воспоминание о красной корове? О горячем ветре? О расколоте гранате? О том, что горячее и соленое, острое и сладкое, соединяясь, образуют орнамент, вспыхивающий всеми оттенками охры?

Солонка. Полная тарелка с солью. Каменная, застывшая глыба. Горечь, которой пропитывается моя гортань и от которой трескаются губы.

Которую буду лизать и лизать, пока не вспомню всё.

Плывущие по волнам

Это был очень хороший ковчег. Новенький, надежный, с гладкой обшивкой.

Мы добирались до него долго, целых семь остановок.

Видимо, я тогда уже выросла, и красный цвет трамвая не вызывал неукротимых рвотных спазмов. Мы ехали долго, а за окнами проносился редкий лес, многоэтажные здания. Это был новый район, он строился для новой и светлой жизни.

Для наших детей, – с гордостью сказала мама и поцеловала брата в макушку. И посмотрела на отца. В той, прежней жизни, оставались палисадник, школа, обезьяна Жаконя с оторванным ухом, – не везти же весь хлам с собой!

Остались дворовые друзья и враги, Ивановна с первого этажа, соседка Мария, кинотеатр на углу, пивнушка, подвал, в котором здорово прятаться и играть в гестапо.

В прежней жизни оставалась бабушка и ее муж, которого она сама называла не иначе как «он» и «старый дурак». Иногда «старый дурак» трансформировался в «старого пердуна».

Возьми, пока старый дурак спит! – мятая рублевая бумажка проделывала долгий путь, из внутреннего кармашка «Его» пиджака в карман бабушкиного фартука, а оттуда – в мою ладонь.

Бумажный рубль полагалось тратить. Он не влезал в ко-

пилку и не гремел оттуда тяжело и многозначительно, как копеечные медяки. Лежал в кармане и время от времени напоминал о себе нежным шорохом.

На рубль можно было купить... Ох, на рубль можно было владеть целым миром. Сколько пачек мороженого, сколько шоколадных конфет, а леденцов-цилиндриков, тянучек, воздушных шаров. Не говоря уже о сладкой газировке. Или томатном соке. Нет, яблочном. Или все-таки томатном?

От обилия возможностей кружилась голова.

Все это были такие смешные, маленькие удовольствия... Такие незначительные по сравнению с главным. Каким, спросите вы? А вот каким. Например, улучшить момент, когда мама озадаченно роется в кошельке, а потом незаметно вздыхает и отводит глаза от прилавка. Небрежно протянуть сокровище и потом долго, весь день и весь вечер чувствовать себя... Понимаете?

В прежней жизни оставалась смежная комната, забитая книгами и стеллажами, выходящая окнами на бульвар Перова.

Комната была маленькая и солнечная, во всяком случае солнечные зайчики в ней не переводились.

Окна выходили на бульвар и шоссе, и, не выходя из дому, можно было быть в курсе всех важных событий. Дорожные аварии, свадебные машины с куклами и шарами, похоронные процессии, пьяные разборки у гастронома, – вот через дорогу семенит соседка из первого подъезда, с кошелкой, это

если с базара, а если с авоськой, то из овощного.

В квартире на Перова было весело, потому что скучать было решительно некогда.

Добрая ссора – соль земли. А что вы скажете о хорошем скандале?

Скандалили все. Танькины родители с третьего, Мария с пьяным мужем за стеной, Ивановна снизу, бабушка с «Ним», бабушка с мамой, мама с бабушкой.

Слава богу, повод находился всегда.

Не слушай ее, – бабушка заговорщицки сжимала мою руку, – она малахольная, твоя мама.

Боевые действия разворачивались стремительно. А вот тебе, – бабушка подсакивала на удивление резво и торжествующе выбрасывала вперед стиснутый кулак. Это было похоже на танец.

На пантомиму, балет и оперу одновременно.

А вот тебе, – маленькая смешная дуля описывала круг, и я не помню уже, чем именно отвечала ей мама, зато помню истошный вопль, который, несомненно, слышали все без исключения соседи, – ой! держите меня! – бабушка хваталась за сердце и медленно опускалась... куда? куда попало опускалась она, изумленным взглядом обводя стены, призывая в свидетели все застывшее в смертном ужасе человечество.

О бабушкином муже, мамином отчине, я помню только намотанные на больные ноги тряпки и выражение «жмать масло», которое обозначало весьма странное действие, но-

сившее явный садистский подтекст. Острые болезненные щипки – таким образом бабушкин муж занимал ребенка, то есть меня.

Меня он терпел так же, как когда-то терпел и мою маму.

Мама с трудом терпела его, и все время устраивала сквозняки, потому что ей всегда пахло «старым пердуном», а бабушка кричала, что она нарочно, назло делает сквозняк, что в квартире ничем таким не пахнет, а пахнет нормальной жизнью – супами, кастрюлями, болячками.

Иногда все же наступало затишье – я мирно играла в бабушкиной комнате, а «старый дурак» говорил «жмать масло» и делал мне козу. Это случалось накануне дней рождений и когда транслировали футбольные матчи.

Во время матчей вообще было весело. С певучим хохотом вбегала соседская Мария. Она забегала узнать, не здесь ли ее Петро. И напомнить, «шоб дядя Миша ему больше не наливал». А дядя Миша, конечно же, наливал, и Мария прибегала во второй раз. На этот раз уже не с пустыми руками, а, допустим, с тарелкой холодца и огромными мятыми огурцами, потому что, где наливают, там и закусывают, верно?

Во время всей этой шумной беготни я монотонно раскачивалась на ручке двери, а папа писал диссертацию. Он ловко отбивал чечетку на новенькой пишущей машинке, и на любой вопрос отвечал – ммм...

Мама одевала меня, набрасывала жакет, и мы долго гуляли по бульвару Перова, под шум поющих тополей и вопли

футбольных фанатов.

Через дорогу я поглядывала на наши окна. В одном размахивали руками и кричали протяжное «гоооол!!!», а в другом – громоздились шаткие книжные полки, и маленькая фигурка перемещалась из угла в угол, и замирала в задумчивости, склонялась над кипой бумаг.

Первым полагалось внести котенка, но котенка не было, и потому первой вошла мама. Она вошла неуверенно, озираясь по сторонам, каждую минуту готовая к отступлению.

Но отступления быть не могло. В каждой комнате мы оставались и кричали – ура! Обнимались и опять кричали. Кружили охрипшие, восторженные, стояли неподвижно, взявшись за руки, потом вновь принимались бегать и кричать. Пахло свежей побелкой и больше ничем.

Наверное, так пахнет счастье.

Первую ночь мы спали на полу, на расстеленных как попало коврах и одеялах.

Это было похоже на табор. Настоящий цыганский табор. С разбегу я нырнула в постель и долго лежала в темноте, вслушиваясь в шепот и смех. Ну точно как маленькие, снисходительно подумалось мне.

Подумалось только на мгновение, потому что это был очень длинный день.

В прежней жизни оставался ящик со старыми игрушками, балкон, увитый виноградной лозой, школа через дорогу.

Осталась сумасшедшая Валечка из первого подъезда, слепой старик у дороги, воробей, погребенный в четверг под ивовым деревом.

Нашествие гусениц, свалка за домом, участковая Ада Израильевна, учебники за первый класс, красное платье, из которого я выросла за лето.

Впереди было долгое плавание, и наш маленький корабль раскачивался вместе с книгами, пластинками, собаками, виолончелью, вместе с детскими обидами, страхами, снами, с утерянными дневниками, невыученными уроками, – раскачивался, но упрямо плыл – влево-вправо, вперед-назад...

Бульвар Перова, 42

Ну, иди уже сюда, горе мое, – расставив полные ноги в балетках, баба Хеля придиричиво наблюдает за неистовыми прыжками по асфальтовой дорожке, – ну, уже иди сюда, – она еще шире раздвигает ноги, изготовившись сомкнуть их на моей вертлявой талии. Первое, – высморкаться, – вот так, не жалея, я же слышу, у тебя там осталось, – второе, – не бегай ко второй парадной, – кто там сидит? кто? – умничка моя, золотко, – пра-авильно! – баба с кастрюлей на голове и баба Череп, а еще кто? – Хромая Люся, Петрова с противоположного дома, мало ей своих скамеек, и Криворучка.

Клятвенно пообещав не бегать «ко второй парадной», я наблюдаю за тем, как медленно всплывает бабыхелина спина в дверной проем, – авоська с селедочными хвостами бултыхается у сливочных икр, – стоит роскошная середина мало-российского лета, и баба Хеля не носит чулок, а надевает балетки на босу ногу, – не балетки, а чистое наказание, жмут в пальцах, натирают нежную бабыхелину кожу.

Если бог создал рай, то рай находится где-то здесь – между первым и вторым палисадником приблизительно, в сени огромной акации, на примятой, растущей как попало траве, окруженной кустарником, в спутанных ветвях которого нет-нет да попадаются кислые сизые ягодки, – есть их категорически нельзя, от них могут вывалиться глаза, вырасти волчья

шерсть и клыки, но разве ж можно удержаться и, зажмурившись, не прокусить тонкую синеватую кожицу...

Про рай баба Хеля, конечно же, не догадывается, и потому строго-настрого запрещает переходить из первого палисадника во второй – ведь всем давно известно, что по городу ходит банда и крадет маленьких детей, и даже таких непослушных, со сбитыми коленями в зеленке. Что делает банда с маленькими девочками, баба Хеля не уточняет, но именно то, что она деликатно не договаривает, волнует и будоражит мое воображение.

Конечно же, баба Хеля и не подозревает о том, что она давно уже не является единственным источником информации, и истиной в последней инстанции тем более. С некоторых пор я снисходительно отношусь к ее историям, потому что она уже старенькая, и многого просто не понимает.

То, что баба Хеля уже старенькая, не может не печалить меня, – мне кажется, что старость – это что-то постоянное, ведь я никогда не видела бабу Хелю молодой. Баба Хеля старенькая, и она скоро умрет, – как, например, танькина бабушка с третьего этажа.

Уже засыпая, я вижу процессию, плывущую вдоль дома и выплывающую на бульвар Перова, и слышу торжественную оглушительную музыку, – ааааааа, – кричу я и просыпаюсь, и долго вслушиваюсь в свист и храп, доносящийся с высокой кровати. Баба Хеля храпит так, как может храпеть только **ОЧЕНЬ ЖИВОЙ** человек, – она храпит не однообразно,

а весело – с нежными переливами, с бульканьем, с клекотанием, и это гораздо страшней, чем скорбная процессия и играющий вразнобой оркестр, – баба Хеля, шепчу я, – баба Хеля, мне плохо, я умираю, проснись...

Если бог создал рай, то он позаботился о том, чтобы в раю было вечное лето, – оно еще бывает бабьим, но я в этом мало что понимаю, – в этом году бабье лето, – сообщает мне баба Хеля, и это значит, что до резиновых бот и красных валенок еще целая вечность, а пока можно охотиться за жуками, обкладывать разноцветными стеклами «секретики» и прятаться за мусоркой, вжимаясь спиной в крашеную известью стену.

Можно играть в «казаков-разбойников», выбрав в пару самого отчаянного мальчика двора, и однажды взлететь на подножку уходящего неведомо куда автобуса, и очутиться в незнакомом районе с точно таким же гастрономом и такими же пятиэтажками, и долго блуждать по чужим улицам, повторяя, будто заклинание, вызубренное однажды и навсегда «Бульвар Перова 42 квартира 18».

Если бог создал рай, то он населил его старушками, восседающими на лавочках у первого, второго и третьего подъезда. Эти старушки, кивающие головами в разноцветных платках, знают обо мне все – что я «бабыхелина» внучка, что я уже «совсем выросла», что вчера у нас были гости, что родители у меня не такие как все, что «они армяне», что они, страшно сказать, «евреи», – не слушай их, – сжимая мою ру-

ку, баба Хеля подымается по ступенькам, – ну, армяне, это так же непонятно, как индейцы, – я распускаю косы и издаю победный клич – хей-о!!!! – недавно меня водили на «Винитувождяпачей», после чего я решила, что интересней всего быть индейцем, индейкой то есть.

С индейцами все ясно, они благородные и сражаются против белых, но евреи? Если евреи – это баба Хеля, и баба Рива, и дед Йосиф, то против кого сражаться им? И смогут ли они сражаться? Смогут ли они действовать слаженно и бесстрашно против неведомого врага?

У бабы Хели вставные зубы, на кухне она часто сидит у окна и разговаривает сама с собой, ведет долгие беседы, кивает головой и пожимает плечами.

Она вспоминает эвакуацию, понимаю я и пристраиваюсь в уголке с книжкой, но листаю ее рассеянно, потому что монолог бабы Хели гораздо интересней, гораздо, – он страстный, гневный, умоляющий, напевный, – в нем баба Хеля сводит счеты с кем-то явно всесильным и всезнающим, но каким-то бесчувственным, что ли...

– Ты слышишь? Ты слышишь меня? – вопрошает она и сладко прикрывает веки, – всего на секунду забывается, а потом вновь заходится, соединяя обрывки слов, междометий, – горестно раскачивается на хрупком табурете, складывает щепотью пальцы и прикладывает их к груди.

– Они хитрые и жадные, – Танька Мороз поглядывает исподлобья и добавляет, – и богатые.

Таньку Мороз я знаю сто лет, мы сто раз ссорились и мирились здесь же, под старой акацией, но поводом для ссор были гораздо более серьезные вещи, например немецкий пупс с гибкими ручками и ножками и ярко-красным морщинистым ротиком, а еще набор пластмассовой посуды для крошечной кухни, а еще – прозрачные наклейки с изображением ягод, а еще – жвачка, которую мы жевали по очереди до тех пор, пока она не превращалась в серую клейкую массу.

Жевать жвачку в одиночестве, согласитесь, просто смешно – во-первых, об этом мало кто догадается, во-вторых, так приятно, так здорово мять в пальцах толстую серую гусеничку, раскатывать колобок, делить его на две, а то и четыре части. Жевать иступленно, поглядывая друг на друга с ликованием заговорщиков... Хочешь жуйку? – небрежно выдуть огромный пузырь, втянуть его обратно и жевать, жевать, жевать...

А ну, дай сюда, – баба Хеля шарит под подушкой и заставляет открыть рот. Больше всего она боится, что я так и усну со жвачкой, и тогда, не про нас будь сказано, – она горестно качает головой и рассказывает ужасный случай про одну глупую девочку.

Они хитрые и жадные, – ну, что-то в этом есть, – я ловко прячу свое сокровище в наволочку и засыпаю под тиканье ходиков, так и не дослушав ужасную историю до конца.

Утро начинается с истошного бабыхелиного «вейзмир», потому что волосы мои, от природы и так не слишком по-

слушные, оказываются склеенными намертво. Я шарахаюсь из стороны в сторону, уклоняясь от густого гребешка, понимая, что не избежать мне судьбы одной глупой жадной хитрой девочки, голову которой обрили и густо обмазали зеленой. А потом продали в цыганский табор, водили по улицам и показывали за деньги.

Черная среда

– Они армяне, – торжественно изрекла Нестеровна, и весь класс повернулся в мою сторону.

Армяне богатые. У армян много денег и много детей, – добавила зачем-то она и блеснула золотой коронкой в углу рта.

Я виновато сжалась, понимая, что не во всем соответствую общепринятому стереотипу. Детей в нашей семье было всего двое, а денег...

В общем, жили мы от зарплаты до зарплаты. Папиной. Потому что у мамы был загадочный «пятый пункт», и согласно этому самому пункту работу ей найти было крайне сложно. Работу, которая соответствовала бы образованию переводчика с французского. Оттепель давно закончилась, фургончики с любознательными и доброжелательными туристами отбыли по домам, и домой вернулась моя мама. Домой, – к пеленкам, кастрюлям и проверке домашних заданий.

Мы жили от зарплаты до зарплаты. Дотягивая каким-то чудом. Потому что в промежутке «от и до» папа покупал книги. Уже по повороту ключа в замке и быстрым шагам в коридоре я понимала, что будут книги. Полный дипломат книг, чаще взрослых, но от этого не менее интересных.

Армяне богатые, – повторила Нестеровна, настойчиво поглядывая в мою сторону. Голова моя склонялась все ниже и ниже, потому что от констатации факта путь к санкциям

был наикратчайший.

Мне было стыдно. За несоответствие ожиданиям. За огрызок галстука. За вовремя несданные в фонд классной библиотеки пять рублей. Дождешься от богатых армян, – как же!

Не говоря уже о евреях.

Проблема была во мне. Я знала, что папа протянет бумажку без лишних слов. Но мне не нужна была ИХ библиотека!

Мне достаточно было своей. А если не вполне, то в запасе была библиотека моей тети. Там не нужно было притворяться, что я медленно читаю. Держать книги по неделе и более...

Армяне богатые, а взносы не сдают, – почти игриво произнесла училка, помахивая указкой. По лицу ее блуждала мстительная торжествующая улыбка, – встать! – заверещала она, как всегда, ошеломляя феерической сменой интонации.

О, в этом жанре равных ей не было.

Заклеймить позором. В лучших традициях.

Предать анафеме. Отлучить, в конце концов.

Побледневшая, стояла я на эшафоте. Трепеща огрызком галстука в ожидании неминуемой расправы.

Сладостные мгновения глумления над ближним. Свободные от проверки домашних заданий и унылого фонетического разбора.

Училка неистовствовала. Ее красноречию мог бы позавидовать любой кремлевский оратор. Характерным жестом она

вскидывала руку с указующим на меня перстом.

– воротнички... манжеты... манкирует... а вы посмотрите на ее галстук!

Я была начитанной девочкой и хорошо понимала смысл слова – «падшая».

Я была падшей. Растоптанной. Втопанной в грязь, раздавленной, деморализованной.

Мне нечего было терять. Собрав остатки мужества, я выплеснула всего одно слово. От которого замерший в благоговейном ужасе класс покачнуло, как во время землетрясения.

– А вы – сволочь, – проблеяла гордая дочь армянского и еврейского народов.

Дольнейшее описывать не берусь, но этот день фигурировал в моем девичьем дневнике как «черная среда».

Утро понедельника

Сияющее лицо школьной медсестры ничего хорошего, как правило, не сулит.

– Ребята! – звонко выкрикивает она, складывая ручки под уютной грудью, – ребята! – радостно повторяет она, как бы не обращая внимания на вмиг побледневшие лица некоторых мальчиков и девочек, в том числе, сознаюсь, и мое.

Дело в том, что, наверное, больше всего на свете я боюсь уколов. Уколов и похорон. Если уколов не любят все, то к похоронам отношение бывает самое разное.

В нашем дворе, например, на похороны слетается вся старушечья компания из близлежащих домов и подъездов. Вытягивая шеи, придирчиво следят старушки за невеселым, но, – бог свидетель, – таким живописным обрядом. Любопытство их вовсе не праздное, а очень деловое, фиксирующее незаметные иным детали и шероховатости. В тот самый момент, когда я с треском захлопываю окно и забиваюсь в самый дальний угол комнаты, они поджигают и без того поджатые губы, покачивая головами, – а оркестр-то всего один раз сыграл, и без души, – без души, – подтверждает другая, отмечая вскользь о жене покойного, которая не очень-то и убивалась, – верно, Михална? – а на кой ей убиваться, когда от водки помер, – и себя извел, и ее, бедняжку, – ну, это еще вопрос, от чего пил, – не оттого ли, что... – прибавивши-

еся старушки из дальних домов торопливо кивают, – в автобус они входят степенно, как самые главные в процессии, – никто и не спорит, – они и есть главные, – почти посредники между тем миром и этим...

Хотя моя замечательная бабушка не очень поддерживает весь этот старушечий кавардак, но и она не выдерживает и, покинув пытящую на плите кастрюлю, уносится вниз с неподобающей ее возрасту резвостью.

Возвращается, сверкая глазами, раздумывавшаяся, помолодевшая на несколько лет. Автобус уехал без нее, места не хватило, – поминки только через часа два, – какое-никакое, а событие.

Взгляд ее с тревогой останавливается на мне, – пригласи Танечку, – почти заискивающе просит она, – поиграйте часика два, пока мама не вернется, – да, – и маме – ни-ни, – заговорщицки подмигивает и распахивает платяной шкаф, – ну чем не повод надеть почти новое платье из прекрасной си-ней шерсти, скромное и сдержанно нарядное, и замечательные изящные балетки...

В общем, к похоронам у меня отношение более чем прохладное.

С уколами – совсем плохо. Как все дети, наделенные богатым воображением, я испытываю боль от укола трижды, – когда предполагаю, что он неизбежен, когда убеждаюсь в правильности предположения и, когда, собственно...

История о девочке, которая укусила медсестру и забилась

под веранду, облетела весь микрорайон.

Из скромности я не назову здесь имени этой самой девочки.

– Ребята! – звонко выкрикивает старшая школьная медсестра, – всем! не забыть! – записать в дневниках – принести по спичечному коробку с...

Нет. Не могу. И не просите.

Класс ошарашено молчит первые мгновенья. Но только первые. До некоторых смысл сказанного доходит не сразу, и они, эти некоторые, с некоторой тревогой и облегчением, оттого что речь все же не об уколах, озираются по сторонам. Озираясь, они постигают смысл, – прозревают, скажем так, – и заливаются краской.

Некое беспокойство, гадливое беспокойство, овладевает ими.

Девочки сидят, опутив глаза. Мальчиков буквально распирает.

Чтобы исключить всякие сомнения, старшая медсестра берет мел и крупно, с правильным нажимом, выводит...

Ну, куда, куда он, это проклятый коробок, подевался?

Я выворачиваю портфель, ощупываю дно, судорожно вспоминая, по какой дороге направлялась в школу, где останавливалась, – нет, с утра все шло по плану, – упакован-

ный, перевязанный сотней бечевков, коробок уютно подпрыгивал в боковом кармашке портфеля, – между яблоком и пеналом, – то есть я была уверена, что лежал, уверена до последнего момента, – грозная тень классной укоризненно колыхалась надо мной, – я ощущала себя вдвойне, нет, тройне жалкой, – потому что в этот день мне некуда было забиться, и некого было кусать, – то есть, конечно, было кого, но вряд ли это могло прокатить на этот раз.

Дорога в школу занимала минут двадцать, – по ровной улочке вдоль серых домов, – мимо гастронома, мимо живописно разбросанных тут и сям мусорных баков. Мимо длинной очереди к окошку, в котором заспанная круглолицая женщина медленно пересчитывает бутылки из тускло-зеленого стекла. Мимо кошачьего семейства, живущего в картонке у четвертого подъезда. Мимо усыпанных бело-розовыми соцветиями вишневых и абрикосовых деревьев. Мимо высотного дома, в который не так давно вселились иранцы. Настоящие иранцы. Целые семьи, шумные, многодетные, с очень красивыми женщинами и детьми. Темноглазыми, одетыми вызывающе ярко, во все заграничное.

Я любовалась ими издалека. Прекрасными, загадочными казались мне смуглые мужчины, – все как на подбор, рослые, в стильных костюмах, – загадочным было само их появление здесь, в этих ничем особо не примечательных домах. Женщины были большеглазы, тонколицы. Почти задыхаясь от восторга, я замедляла шаг.

Она были почти как цыгане, но другие. Что вынудило их покинуть родные края и осесть разноцветной стаей в нашем районе?

Юная женщина с младенцем улыбнулась мне и произнесла несколько слов. Женщина была почти девочка, и младенец в ее руках казался нарядной куклой. Эх, если бы можно было немного поиграть с ней, поговорить, расспросить о далекой стране, о том, что заставило ее.

Улыбаясь, она взмахнула рукой, будто бы приглашая к беседе.

Вряд ли она говорит по-русски. Зачарованно я сделала шаг навстречу. У нее атласная кожа, а облегающий джемпер связан из легкого и яркого пуха. Чем же могла заинтересовать ее я, обреченно идущая по дороге в школу?

Обычная девочка в обычном школьном платье, с обычным портфелем с полуоторванной ручкой (результат драки в прошлый понедельник), с обычным, повторюсь, портфелем, в котором лежат...

Лежит. Лежал...

Рука женщины указывала вниз, под ноги. Так и есть. Обвязанный и обмотанный бумагой, валялся злополучный коробок в придорожной пыли.

Наклонившись, я выхватила его двумя пальцами и ринулась прочь. Не смея осквернять своим присутствием Ее. Прекрасную иранку с прекрасным ребенком. Будто сошедшую с персидской миниатюры.

Ну куда же он подевался, куда? – из пенала посыпались разноцветные карандаши, еще почти новый фломастер с резким запахом цветочного одеколona, – краснобокое яблоко весело подпрыгнуло и откатилось в угол.

Все глупые, а она одна умная. Все слушают ушами, а она...

Возьми красный карандаш и запиши, – без анализа в школе не появляться.

Пламенея щеками и шеей, покорно вывожу проклятое слово. Перед глазами стоит прекрасная иранка. В вязаном джемпере, в модных брюках-клеш, улыбается она таинственной нездешней улыбкой.

Существо из другого мира – мира, в котором не бывает похорон, уколов, анализов. Трехэтажного здания школы, завернутых в серую бумагу пирожков, продленки, перловой каши, пульсирующего алым дневника, в котором непроизносимое...

Балетки

Хитро улыбаясь, бабушка выдвигает шифлодик.

Как, вы не знаете, что это такое?

Шифлодик – это выдвигающийся ящичек комода. И находится он в комнате моей бабушки. Если вам когда-нибудь случится заглянуть туда, то помимо комода и шифлодика вы увидите сервантик (именно так!), и годами живущих в нем слоников, и причудливо изогнутую золотую рыбку с приоткрытым ртом, и старый будильник, от звона которого может лопнуть сердце (а звенит он, когда ему вздумается, по настроению).

– На, возьми, пока старый дурак спит!

Старый дурак – это муж моей бабушки, стало быть, – отчим моей мамы, следовательно, никакой мне не дедушка. Хотя, речь совсем не об этом.

Воровато озираясь, бабушка сует в мой карман вчетверо сложенную бумажку.

– Молчи! И дурочке этой – ни слова! А то, чуть что, – сразу крик!

Дурочка – это моя мама. С ней бабушка особо не церемонится.

Время обеда – звездный час моей бабушки.

Она восседает в торце стола, сложив руки на животе, и ревниво отслеживает каждое движение.

На лице – сложная гамма, – от безграничного умиления до яростного осуждения (чего-чего, а темперамента ей не занимать!)

– Ребенку! Ребенку! Золотник хлеба она жалеет! Себя довела, теперь за ребенка взялась!

Человек должен есть. И, вообще, румянец и круглые щеки – не порок. Ни я, ни моя мама этими характеристиками не обладаем. Что очень печалит бабушку.

На мамину просьбу что-нибудь съесть она возмущенно кричит.

– Что, я голодная? Не хватает, чтоб я ела ВАШ обед!

А я потом, селедочку, с лучком, с хлебом.

Бабушкино лицо принимает мечтательное, сладкое выражение. Тут я не выдерживаю. Прыскаю с набитым ртом.

Под гневным маминым взглядом выскакиваю из-за стола, стараясь не смотреть на выразительно колышущийся бабушкин живот.

Итак, хитро улыбаясь, бабушка выдвигает шифлодик.

– Смотри сюда! (голос ее становится строгим и почти сердитым) – ты должна знать, – когда я умру, – не смейся, я уже не молоденькая... Так вот, когда я умру,

ты зайдешь сюда, в эту комнату и откроешь этот шифлодик!

Морщусь от резкого запаха нафталина. Очень бережно бабушка вынимает два свертка. Лицо ее торжественно как никогда.

– Это – отрез на платье, – ему сносу нет, сейчас такое не купишь, вырастешь – пойдешь к хорошей портнихе...

– А это, – бабушка осторожно разворачивает другой сверток, поменьше, – балетки!

Лакированные черные туфельки, совсем новые.

– Да, новые, я их только два раза и надела, – на Цилькину свадьбу, – ну ты не знаешь, и на пох... – тут бабушка вовремя одергивает себя.

– Возьмешь и будешь носить, когда подрастешь, – я торопливо киваю головой (меня давно ждут на улице, и проще с бабушкой согласиться, чем спорить).

Ночью я не могу уснуть. Воображение рисует жуткие картины. Крадусь в комнату бабушки и, пугливо озираясь, выдвигаю шифлодик. Вот они – черные туфельки!

Надеваю их, бегу к зеркалу – и вижу за спиной бабушкино лицо, укоризненное и печальное. Пытаюсь содрать туфли, но они будто приросли к ногам! От дикого вопля просыпаюсь. Слышу звон посуды, тихое ворчание.

Время от времени бабушка смотрит в сторону комода и подмигивает, – я понимающе киваю в ответ. Это наша тайна. Черные лаковые туфельки. Балетки.

Бедная бабушка! Как вы догадываетесь, платья я так и не сшила, – да и балетками, увы, не воспользовалась. По очень простой причине. У бабушки моей была очень маленькая ножка. Тридцать четвертого размера.

Княжна Тамара

Моя армянская бабушка была стройной и сухощавой, ставила ноги по-балетному и любила яичницу с помидорами из шести яиц.

Ее звали Тамара. Глаза у нее были скорбно-гневные. Будто припорошенные пепельной крошкой. Сквозь которую едва пробивались жаркие золотистые сполохи.

Со скорбью понятно. Скорбь армянских глаз объяснять излишне.

Я побаивалась ее. Нам не о чем было смеяться. Несколько раз она попыталась заплести мне косички. Я стояла, опустив шальную голову, не смела встретиться взглядом.

Между нами пролежала пропасть. Я была вертлявой и смешливой, она – степенной и грустной. Все ей было не так. Не то.

Вместе с бабушкой Тамарой в дом въезжал солидный чемодан. Я восхищенно наблюдала за струящимся из него прохладным шелком, крепдешинном, ситцем и плавно стекающим бархатом. Иногда она раскрывала его и задумчиво перебирала аккуратно сложенные стопки. Там было и «на выход», и на «каждый день», ночное, дневное, демисезонное...

Но помню я ее в одном, всегда в одном и том же легком халате с кармашками, приталенном, доходящем до середины стройных икр.

Пахло от нее сушеной дыней и сухой жарой.

Ее летние визиты, долгие, месяца на три, были испытанием.

Во-первых, я не любила долму. Тогда не любила. Любила простое – жареную картошку, кукурузные хлопья.

А искусно приготовленную, любовно обернутую в виноградные листья долму не любила. И чхртму, и тан, и виртуозно приготовленный густой красный соус.

Во-вторых, напряженные, о, более чем напряженные отношения между двумя бабушками, – армянской и еврейской...

Я не могла не заметить, что моя смешная бабушка Роза уже не ходит, а «шмыгает», что достаточно непросто при ее уютной полноте, что она, о, боже, почти заискивает, да, заискивает, соглашается, поддакивает, кивает головой и поджимает губы. А потом как уронит кастрюлю! Или, допустим, половник.

Бабушке Розе необходимо было продержаться любой ценой. Ведь та, вторая, уедет, а она таки останется. И снова можно будет болтать глупости, прыгать на одной ножке (не бабушке, а мне, разумеется) и рассказывать про непутевую Ивановну.

И бабушка держалась. Она держалась за стены, стол, стулья, – за сердце, наконец!

Сдержанности ее вполне мог бы позавидовать Муций Сцевола. Чего стоила эта сдержанность, знала только она.

Помножим скорбь армянского народа на грусть еврейского и получим долгое, очень долгое молчание... Прерываемое разве что тягостными протяжными вздохами из одного угла комнаты и электрическими разрядами – из другого.

Сегодня-то я все понимаю. Мне все предельно ясно.

Тогда об этом говорили вполголоса, между прочим, и чаще посмеиваясь. Ну как же, попробуйте поживите с княжной!

Да-да, вы не ослышались! Моя армянская бабушка была княжеского рода. Из князей, значит. И всю жизнь терзалась этим. Гордилась и терзалась. И, естественно, негодовала.

Попробуйте поселить княжну (пусть даже на месяц-другой) в крохотной комнатухе на Подоле, или, допустим, на Воскресенке. В крохотной комнатухе с прелестным балконом, увитым виноградными листьями. С натянутыми бельевыми веревками, огромным тазом для стирки, прислоненным к стене. В комнате со скачущей, растрепанной, шумной девочкой, которая ни минуты не сидит на месте и совсем не делает попытки приблизиться, понять, заглянуть туда, где скорбь, гнев и обида.

Бабушка Тамара была княжной. В силу возраста мне не дано было оценить изящество рук и лодыжек, стройность шеи и хрупкость пальцев. Я видела другое.

И только позже, много позже, что-то кольнуло меня, когда случайно, совсем случайно, я подсмотрела голубей, клюющих с ее раскрытой ладони, и ее саму, машущую с балко-

на всле́д удаля́ющемуся силуэту моего отца. И бормочущую слова, которые мне не дано было понять, увы, тоже.

Корзина, картина, картонка

Эта девушка, сидящая на подоконнике у окна с распахнутыми ставнями.

Да, помимо стекол были ставни, либо наглухо задраенные (на время полуденной сиесты), либо распахнутые во двор.

Окна первого этажа выходили на уютную площадку между домами, с мощным стволом акации в самом центре и мощной же кроной, образующей прохладную тень.

Подол. Подвальные помещения, зарешеченные окна, за окнами непременно кто-то жил, всегда жил, – какие-нибудь старушки, а то и целые семьи, – всегда казалось, что живут эти подвалы жизнью таинственной, непостижимой.

Вот я, допустим, идущая по улице с тетей, идущая по улице в красных ботинках и шапочке «лебединая верность», совершенно особенная девочка, нарядная, подпрыгивающая на одной ножке, предвкушающая катание на парохоме и обилие всяческих чудес, – например, покупку вязких огурчиков из теста либо сладкой же ваты, – я, живущая в замечательной пятиэтажке, на втором этаже с балконом, увитом листьями дикого винограда, с любопытством, со сладким замиранием заглядывала в окна с крошечными форточками, занавешенные желтоватыми занавесками, освещенные либо темные, – на окнах были решетки, но главное – оттуда тянуло... тяжелым, неистребимым, сырым и холодным.

Именно дух. Дух старого Подола. С запахами цветущих лип, речного вокзала, ладана, нафталиновых шариков, плесени. С запахами елочных базаров, первого снега, истаивающего на языке. Запах двора. Едкий – кошачий, острый – тарани, сладкий – клубничных пенек и приторного вишневого компота. Погреба, в котором чего только нет. Нагретой полуденным жаром железной двери, о край которой я рассекла лоб. Раскидистой шелковицы, которая сама по себе соблазн, искушение... Тут и там возникающими колоритными фигурами батюшек, монашек, просто старушек, чаще согбенных, с бледными «подвальными» лицами, несущих на себе, в себе – этот самый «дух», невыветриваемый, живучий, вечный.

Ступенек было три, ровно три, – сбитых, продавленных, – налево по коридору располагалась довольно вместительная кухня, на которой всегда что-то происходило – некое действие, почти сатанинское, сопровождаемое адским кипением под алюминиевыми крышками. Чугунные сковородки висели в ряд, формой и значительностью соперничая с беспрестанно вещающей черной тарелкой. В тарелке всегда происходило важное. Например, гимн Советского Союза. Или радиоспектакль «Таня». Или нечто под гармонь, залихватское, притоптывающее, – либо продольное, горизонтальное, бескрайнее, как степь, привольное, как колхозное поле.

Это было очень правильно организованное пространство, – во всяком случае, мне оно казалось идеальным.

Меня ждали. Меня всегда ждали.

Я была главный гость. Стоило проехать полгорода, чтобы стать центром Вселенной. Центром Вселенной на улице Гергия Ливера, бывшей Притиско-Никольской.

А кто к нам пришел! – наскоро вытертые руки обнимали меня и вели по узкому коридору в дальнюю комнату. По мере моего продвижения справа и слева приоткрывались двери, – а кто к нам пришел! – важную гостью гладили по голове, угощали, привечали и всячески любили.

По дороге я успевала дотянуться до взъерошенной Муськиной спины. Муська была ангорской, легкой как пух. Правда, чуть позже она трансформировалась в тяжеловесного хищника, рыжего сибиряка, дамского угодника и редкого прощелыгу.

В дальней комнате царил привычный полумрак. Ставни, как правило, были прикрыты, а большой и яркий свет зажигался во время вечернего чаепития.

Чаепитие было настоящим.

С подстаканниками, синими блюдами, тяжелой сахарницей. Чай в стаканах обжигал губы и язык, – взрослые отдувались и потели, мне же позволено было прихлебывать из блюда.

Стол был огромным, стулья – с высокими спинками, кожаными сиденьями. Это были очень прочные стулья, сделанные на совесть.

Все в этом доме было прочным. И у всего было свое место. У кушетки, у огромной печи, выложенной изразцами цве-

та топленого молока. У маленьких тугих подушек-думочек. У настенных часов, которые показывали очень точное время. Время было безразмерным, медленным – оно разматывалось, точно огромный клубок, струилось, будто песок.

У маленьких ходиков с гирькой. Ходикам полагалось быть несерьезными. Запаздывать, забегать вперед. Вздыхая, дед Иосиф взбирался на стул и подтягивал гирьку.

Корзина, картина, картонка, – напевал он, лукаво поглядывая в мою сторону. В третий раз «корзина» звучала как «Карина», – в этом месте я смеялась, давала ущипнуть себя за щеку, и все оставались довольны.

Картина тоже висела на своем месте. Это была правильная картина, изображающая сидящую на подоконнике кудрявую девушку с поджатыми к груди коленями. Возможно, девушка мечтала о чем-то недостижимом. Например, о любви. О прекрасном принце. О хрустальных башмачках и крепдешиновом платье на выпускной бал. Я долго смотрела на нее, очень долго, пока мне не начинало казаться, что эта девушка и я – одно целое. Целую вечность мы сидим вот так, и смотрим во двор, мечтательно прикрыв глаза.

За окном – зима, весна, лето. Сугробы вровень с окном, майские жуки, бельевые веревки, душевая кабинка. Шумные соседи. Фаина с пятого этажа. Давид – ухо-горло-нос с третьего. Стук костяшек домино. Паутина под крыльцом, подвал, заколоченный досками, кошки, много кошек, разноцветных, разномастных, шныряющих, драчливых, дремлю-

щих, загадочных, как сфинксы.

Через дорогу – трамвайная линия, будка сапожника, военная часть.

Скоро всего этого не будет.

Ходики, тикающие над моей головой, показывают настоящее время. Самое надежное в мире.

Над круглым столом вспыхивает лампа. Стол накрыт, и никто никуда не торопится. Чай слишком горячий, но для этого есть блюдце, – на дне его отражаются янтарные блики. Можно пить не торопясь, а потом подойти к окну, легонько потянуть за крючок.

Девушка с картины продолжает всматриваться вдаль. Похоже, она все еще ждет чего-то...

Еще немного, – она разомкнет сцепленные на коленях пальцы и опустит ноги на землю. И побежит. Интересно, как быстро умеют бегать мечтательные девушки с волнистыми волосами?

Я буду долго смотреть ей вслед и думать, что она – это я, а я – это она.

Пока не опустятся сумерки и не захлопнутся ставни.

Зеркало

Еще только начали избавляться от табелей и прыщей, а уже вот она, взрослая жизнь, началась. Распахнулся занавес, и на подмостках вместо привычной мизансцены, такой многообразной в своей однотонности, – новые лица, голоса, – привычный мир закончился – для кого раньше, для кого позднее, кто-то проскочил, вырвался вперед, кто-то задержался на старте, – а там уже – выпрастываются из школьных воротничков, из пузырящихся изношенных до лоска коричневых брюк, – колени, локти, шеи, ключицы, кадыки, – мы уже начались, – у стойки школьного буфета, хватаясь за подносы с потеками яблочного повидла, – в пролетах между этажами, между контрольными по обязательным и второстепенным предметам, – по одному, в затылок, выходим, ошалевав от безнаказанного, уклоняясь от опеки, мальчики и девочки выпуска ... года, – строим маршируем мимо закопченных домов, проваливаемся на вступительных, – уже через год, повзрослевшие, сталкиваемся лбами на похоронах «классной», – или через пять? – десять? – вот и Юлька Комарова, – она уйдет первой, – ломкие ножки без единого изгиба, – смешные ножки-палочки и ясные, слишком ясные глаза, – нельзя с такими глазами, – нельзя с такими глазами любить взрослых мужчин, – моросит дождик в вырытую могилу, и земля уходит, ползет, – глинистая, комьями впивается

в подошвы, обваливается, крошится, разверзается.

Зато та, другая, – третий ряд у окна, четвертая парта, – красные щеки, пуговики с треском отскакивают от тесного платья, – нянчит троих, таких же щекастых, крикливых, кровь с молоком, – со школьной скамьи – на молочную кухню, – левую грудь Машеньке, правую – Мишеньке, потом переложить, – Машенька сильнее сосет, а Мишенька так себе, – сосет и левый кулачок сжимает, будто насос качает, – а сама и девочкой не успела побыть, – жиропы, хлебзавод, булка, пончик...

Вот и дорога в школу, припорошенная лепестками астр, махровых, сиреневых, бордовых, – там, на углу – прием стеклотары, а чуть дальше, за девятиэтажкой, я всегда останавливаюсь, – там живет некрасивая девочка, – на углу стоят они, взявшись за руки, раскачиваются как два деревца, никак не разомкнутся, – старшеклассник, совсем взрослый и девочка эта, от некрасивости которой что-то обрывается внутри, – точно птенец, тянется клювом, осыпает мелкими поцелуями его прыщавое лицо, – выросшая из короткого пальто, в войлочных сапожках, самая удивительная девочка, моя тайная любовь, мое почти что отражение.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.